

## Ðýдî ì ñî ñî а̀đòüр

(Âî ñî î ì èí áí èý áüâøââî âî áí í î èáí í î áî)

**А**ВТОР предлагаемых ниже воспоминаний Евгений Николаевич Петров родился 22 апреля 1919 г. в Кронштадте, отец его был судьей, затем военным юристом, адвокатом, мать умерла, когда ему было всего три года. Обучался в 3-й Образцовой школе города, в музыкальной школе, играл в школьном симфоническом оркестре, в старших классах начал писать стихи. По окончании в 1937 г. школы поступил в Ленинградский пединститут имени А. И. Герцена: на литературный факультет попасть не удалось, обучаться начал на географическом, где большое внимание уделялось изучению астрономии и истории. Женившись на третьем курсе, перевелся на заочное отделение. Сдал экзамены за последний курс, а госэкзамены сдать не успел: началась война. 1 июля 1941 г. Е. Н. Петров ушел добровольцем на фронт, был командиром отделения артиллерийской разведки. Но дивизия была разбита численно превосходящим противником, и осенью 1941 г. Е. Н. Петров попал в плен, находился в концлагерях Луги и Пскова, совершил четыре побега, из которых только четвертый увенчался успехом. После этого служил рядовым в 314-м гвардейском стрелковом полку, был награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», демобилизовался в самом конце 1945 г.

После окончания войны сдал госэкзамены в ЛГПИ им. А. И. Герцена, работал воспитателем в ремесленном училище № 48, через год переехал с семьей в Кронштадт и стал преподавать в школе: географию, немецкий язык, а затем психологию и логику. Но в 1950 г. из Кронштадта началась высылка «неблагонадежных», Е. Н. Петрова лишили прописки и предложили в течение пяти дней покинуть город. Полгода он был без работы, а затем получил назначение в школу № 2 г. Сланцы, где и работал до ухода на пенсию в 1979 г. Принимал активное участие в работе организации общества «Знание», занимался развитием и организацией школьного туризма, с 1956 г. печатался в районной газете «Знамя труда», работал внештатным экскурсоводом. Е. Н. Петров написал ряд краеведческих работ, например «Исторические очерки о родном крае. Принаровье, Причудье, бассейн р. Плюсса», повести «Гдовские мушкетеры», «Меч Довмонта» и др., воспоминания. Скончался в 2007 г.

Настоящие воспоминания о времени, проведенном в фашистском плену, для публикации передал краевед В. И. Будько (Сланцы - Горки Ленинские)

Кто не знает таких всемирно известных фашистских лагерей, как Майданек, Освенцим, Дахау, Бухенвальд, Маутхаузен, Заксенхаузен? Их справедливо называют «лагерями смерти». В основном эти лагеря были «гражданскими». Лучше сказать: в большинстве из них содержались преимущественно гражданские лица, негодные фашистскому режиму, и в меньшей степени военнопленные.

Но у фашистов было очень много лагерей только для военнопленных. Их было много и на временно оккупированных территориях Советского Союза. Эти лагеря не принято называть «лагерями смерти». Но они тоже были таковыми, хотя в них не было газовых камер и крематориев.

Свидетельствую об этом как узник пяти лагерей: в Луге, двух псковских, форта № 6 в Каунасе и «Шталага два Д» в Померании. Я не был в Маутхаузене, Бухенвальде, Заксенхаузене, но встречался с людьми, которые были их узниками, и могу делать некоторые сравнения.

Ещё раз утверждаю: большинство лагерей для военнопленных предназначались для уничтожения людей, а в условиях нескольких месяцев 1941-1942 годов во многих из них выжить было труднее, нежели в известных «фабриках смерти». И главными «факторами смерти» были голод, нестерпимый холод, непосильный труд, ужасный лагерьный режим и болезни, из которых главные - дизентерия и сыпной тиф.

Выжить в то время могли только те, кто по какой-либо причине оказался в лучших условиях, чем большинство. Это в полной мере относится и к автору этих воспоминаний.

«Счастье» таких людей зависело от ряда случайностей и неслучайностей, от собственной изворотливости, от их политической позиции и солидарности людей. При этом я полностью исключаю предательство, прямую подлость, хищничество и насилие над другими.

Заключая общие сравнения, хочу ответить на вопрос, который может вызвать недоумение: а чем могли быть лучше условия на «главных фабриках смерти» внутри Германии? Там были сравнительно тёплые капитальные бараки, лучшие условия для сна, хотя и зверский, но постоянный режим. Это позволяло прожить несколько дольше, чем в псковских Крестах, Песках или Военном городке.

### Луга

Сюда во второй половине сентября 1941 года немцы согнали огромное количество военнопленных, захваченных ими в окружениях: 41-го стрелкового корпуса между г. Лугой и Московской железной дорогой, и частей Красногвардейского укрепленного района, центром которого была Гатчина.

Пленных были тысячи. Почему так много красноармейцев сдалось в плен?

С горечью вспоминаю некоторых ретивых журналистов, которые не только во время войны, но даже после неё мыслили пропагандистскими лозунгами и призывами типа: «Советские люди в плен не сдаются». Такие люди, видимо, представляли сражения в виде мушкетёрских поединков, где всё решает храбрость и умение просто драться, если не штыками, то сапёрной лопаткой.

О том, почему красноармейцы массами сдавались и в одиночку и группами, говорить можно много. Я по этому поводу хочу сказать лишь кое-что. Прежде всего мне думается, что выражение «сдались в плен» к большинству военнопленных в прямом смысле не относится. Правильнее говорить: они были захвачены в плен или вынуждены сдать, хотя готовы были сражаться, если бы могли. Для тех, кто не разобрался в условиях войны, или тех, кто не узнал всех её сложностей по своему опыту, массовая сдача людей врагу может показаться предательством, трусостью, малодушием. Говорю прямо: все эти причины для абсолютного большинства красноармейцев, включая ополченцев, которых много попало в плен, не подходят. Такие отрицательные качества можно относить только к отдельным личностям. Они, конечно, были, но в виде исключения.

На самом деле всё бывает иначе. В любой войне сторона, обладающая в данный момент военным превосходством, при умелом проведении операций, всегда может надеяться на за-

хват большого количества пленных. Такие операции даже планируются на большом оперативном пространстве.

В чём причины захвата в плен наших воинов на дальних подступах к Ленинграду? Одна из главных причин сдачи красноармейцев группами - отсутствие управления войсками в окружении. К сожалению, правда, что многие командиры при осложнении обстановки तोпились покинуть штабы и командные пункты. В результате и до того плохая связь нарушалась полностью. Солдаты, не руководимые командирами, не знающие обстановки, не могут ориентироваться и оказать серьёзное сопротивление врагу. Слово «окружение», конечно, всех пугало. Но я, лично, в период окружения не видел и сам не испытывал паники. Было другое: глубокое уныние и растерянность в связи с отсутствием командования и связи.

Вторая важная причина - следствие окружения: прекращение снабжения боеприпасами, продовольствием, транспортными средствами. Лишённые питания, оказавшиеся в стороне от населённых пунктов, где что-то можно добыть из продовольствия, бойцы слабели. Убедившись в том, что никто из своих уже не выручит, они сдались. Очень важной и всем известной причиной было неравенство в вооружении. Сбитая с оборудованных позиций и быстро отступающая, а то и бегущая от танков пехота имела в своих руках только винтовки. Преследуемая ещё с воздуха, накрытая артиллерийским и миномётным огнём, она рассыпалась на неуправляемые, обречённые группы до бесконечности измотанных людей.

И под Лугой, и под Гатчиной наши войска долго и упорно сдерживали противника, без приказа не отходили, пока не попали в плотные кольца окружения. В обоих местах положение сложилось похожее, хотя и не одинаковое. Перед отступавшими от Луги были многокилометровые пространства, не занятые противником, и, хотя и трудные из-за лесов и болот, возможности маневрирования. Большинство же «гатчинцев» было плотно захлопнуто на узком пространстве.

Немного подробнее. Наше фронтовое командование затянуло со своевременным выводом войск из-под г. Луги, когда 41-му корпусу только грозило окружение, а оборона небольшого участка на реке Луге не имела никакого смысла. Приказ об отходе лужской оборонительной группе был дан лишь тогда, когда немецкие танки широким кольцом охватили пути отступления наших войск. Немцы вынудили наши войска идти сотни километров труднопроходимыми болотами по утонувшим дорогам и тропам. В этих условиях они вынуждены были бросить почти всю артиллерию и прочую технику. Командование группы вырвалось вперёд, стараясь найти выход из окружения. После долгих блужданий и попыток вырваться из петли ему удалось вывести к нашим небольшую часть группы.

В то же время большинство заблудившихся в лесах бойцов осталось без старших командиров. Да и чем оставшиеся командиры могли помочь? Окруженцы сначала питались кониной. Когда коней не стало, ели только грибы и ягоды. Отдельные группы окруженцев выходили из лесов и наткнулись на непробиваемые немецкие заслоны, которые их загоняли снова в болота.

Геройство должно приносить плоды идее. До последнего патрона можно защищать крепость, дом, окоп. Но защищать, или лучше сказать охранять, никому ненужное безлюдное болото, не имея возможности причинить вред врагу, умереть от голода в этом болоте - бессмыслица. Истощённые голодом, понимающие бессмысленность своего положения, окруженцы выходили из лесов и попадали в руки к врагу.

Судьба войск, окружённых под Гатчиной (в них находился и автор этих строк), оказалась не менее трагичной.

Как теперь стало известно, командование фронта понимало безвыходность положения войск в укрепленном районе, хотело бы помочь, но Ленинград переживал самые тяжёлые дни штурма по всей линии его окружения, особенно у Пулковских высот, которые находились в тылу у гатчинской группировки. У командования не было резервов для оказания помощи, да и время уже было потеряно. С приказом об организованном отходе войск опять опоздали. Но опять: командование войск в самый критический момент вышло через какую-то щёлочку

в сторону Пушкина, по чѣм-то приказам была выведена часть артиллерии (сейчас в этом трудно разобраться, ибо правду найти вряд ли удастся). Ясно одно: приказ об отходе всех войск стал фактически приказом о выходе из окружения, а принимать его при отсутствии связи внутри кольца было некому, и оставшиеся в нём бойцы и младшие командиры, включая лейтенантов, ничего об этом не знали.

Отходили под давлением противника, оказывали сопротивление даже после того, как была занята Гатчина, бродили группами по лесам (и я тоже), пытались выходить из окружения. Но куда? Все стремились к Ленинграду. А вокруг Ленинграда широкое безлесное пространство, сплошь забитое немецкими войсками. Перейти уже стабилизировавшийся фронт было невозможно. Поэтому и заканчивался путь окруженцев.

Правильно действовать надо было по-другому: уходить в тыл к немцам в места с редким населением, отсиживаться там, прятаться и искать связи с местными партизанами. Но кто же в это время об этом думал? Ленинградцы стремились к Ленинграду.

\*\*\*

В опустевшей и полусожжённой Луге немцы начали строить лагерь для пленных. Расположен он был на краю города возле самой реки. В то время, когда я в него попал, строений в нём почти не было. Баракы только начинали строить. Это была территория, с трёх сторон окружённая колючей проволокой, с пулемётными вышками на углах. Пленных было так много, что они мешали строительству. Поэтому на целый день нас выгоняли на бывшее футбольное поле, находившееся неподалёку от лагеря и тоже возле реки. Не помню точно, как оно было огорожено, но помню, что рядом - за несколько метров - проходила улица. Стадион, а лучше сказать площадка, располагался ниже дороги, и очень редкие прохожие проходили совсем рядом - за цепью охраны - и видели всё, что там происходило.

На футбольном поле не было никаких сооружений. Поверхность поля покрыта утрамбованным песком, травы не было. Неподалёку от реки была устроена ничем не огороженная уборная - яма с досками поперёк. Сидящих там из города было видно.

На футбольном поле мы находились целый день. Уводили с него два раза в сутки: на обед и к вечеру «на ночлег».

Сидеть на поле было негде, лежать тоже. Часто шли дожди: земля была сырая. Садиться на неё - значит дрожать от озноба и ещё быстрее терять силы. Приходилось топтаться весь день.

Когда прояснялось и начинало пригревать солнце, мы радовались: можно согреться и обсохнуть. Но и солнце вскоре становилось врагом. В шинелях становилось жарко, снять их нельзя. Усиливалась жажда. А пить нам после обеда не давали ни на площадке, ни в самом лагере вплоть до следующего дня.

К реке немцы не подпускали не то из боязни, что кто-нибудь попытается её переплыть, не то из боязни распространения эпидемии, так как в реке могли находиться трупы. Были случаи, когда с наступлением темноты смельчаки пытались подобраться к воде, но их настигали пулемётные очереди. Стреляли немцы и по кострам, которые пленные разводили, используя имеющиеся под руками щепки или для согрева или для того, чтобы сварить где-то добытую картошку. Принести её могли только те немногие люди, которых выводили из лагеря на работы. Добывшие картошку не знали, что с нею делать: воды не достать. Доходило до того, что варили её на собственной моче.

Как уже было сказано, на обед нас уводили в лагерь. Я не беру слово «обед» в кавычки, хотя пол-литра жидкой баланды, именуемой по-немецки «зуппе», то есть суп, обедом назвать никак нельзя. Баланда представляла из себя тёплую воду, в которой плавали редкие листики хряпы (верхнего листа капусты, обычно выбрасываемого в мирных условиях) и, редко, кое-что из потрохов неизвестных животных, чаще всего кусочки лёгкого.

Выдавали ли на обед хлеб в Луге, я теперь не помню. Кажется, нет. Вообще в лагерях обычно был такой порядок: на «завтрак» кусочек хлеба (чего в нём было только не намолото, но древесная мука из берёзы - точно) не более ста граммов и эрзац-кофе (разумеется, не слад-

кий); на обед баланда без хлеба, на ужин - он мог быть часов в 5 - 6 - такой же кусочек хлеба и тот же кофе. В редкие счастливые дни на хлеб клали примерно с чайную ложку повидла. В Луге этого не было. По поводу немецкого хлеба позже я слышал шуточную песенку на мотив популярной у немцев «Лили Марлен». В ней были такие строки:

Не хочу я хлеба есть,  
Потому, что в хлебе шерсть.

Переход на обед с футбольного поля в лагерь напоминал разгон политической демонстрации. Для перехода нужно было построить людей в колонну. Но как это сделать? Ведь мы не были каким-либо способом организованы. Никто нас не переписывал, никто не считал, ни в какие подразделения нас не сводили. Это была огромная дикая толпа, из которой каждый хотел подойти к кухне одним из первых. Чувство нестерпимого голода гасило остатки уважения к своим братьям. Люди уподоблялись животным. Были случаи, когда сердобольные женщины, проходившие мимо футбольного поля, бросали нам через загородку кусочки хлеба. И тут можно было видеть, как низко пали ещё в недавнем прошлом выдержанные и порядочные люди. На хлеб бросались со всех сторон, как птицы, вырывали друг у друга, затапывали. А немецкая охрана смеялась над «дикарями» - представителями «низшей расы».

Строили нас при помощи полицейских собак. Держа на длинном поводке огромных псов, группа солдат бежала рядом с толпой пленных, заставляя её сжиматься и вытягиваться в колонну. На того, кто замешкался на краю, пускали собаку. При приходе в лагерь для перестроения возле кухни применялись другие методы: били чем попало.

Откуда - то появилась русская лагерная полиция. Я и мои товарищи ни в Луге, ни в других лагерях никак не могли понять, откуда берутся такие люди? Какая злая сила их породила? Не буду пока подробно характеризовать поведение этих прислужников немцев, хочу прежде всего подчеркнуть их грабительский нрав. При входе в лагерь они отбирали всё ценное, что могло быть у заключённых, и прежде всего хорошую, не изношенную одежду и обувь. Раздевали, прежде всего, матросов и тех, на ком были командирские гимнастёрки, бриджи или суконные галифе. Так было во всех лагерях.

Из-за этого некоторые пленные оказались без тёплой одежды, в том числе без шинелей. Конечно, были и такие случаи, когда люди попадали в плен в одних гимнастёрках. Ну, а в лагере одевать их никто не собирался.

С наступлением темноты приходило время сна. Немцы старались прекратить к этому времени всякое движение по лагерю. Тот, кто неосторожно двигался, мог попасть под луч прожектора и пулемётную очередь.

Где нужно было ложиться спать? А на чём стоишь. Хорошо, если под ногами сухо, а не сплошные лужи. Я старался устроиться на песке. В лагере были кучи песка. Хотя он был и мокрый, а к утру мог покрыться изморозью, на нём было удобнее и мягче. Я вырывал ямку с таким расчётом, чтобы с боков меньше поддувало.

Утром опять начиналась та же карусель: бесконечное хождение по футбольному полю. Люди очень быстро теряли силы. Накапливалась невероятная усталость. Вскоре в лагере началась эпидемия дизентерии. Прихватила она и меня, но, на счастье, перед самой эвакуацией части заключённых.

Должен сказать, что товарищество и взаимоподдержка в ряде случаев имели в лагерях решающее значение и помогали некоторым выжить. Я тоже выжил благодаря этому, хотя, следует признаться, никогда не был человеком общительным и друзей выбирал очень строго - и, что совершенно не подходит в плену - по принципу интеллигентности. В Лужском лагере я встретил двух бывших студентов моего института. Один из них был моим однокурсником и только что институт закончил (моя судьба была немного иной: я ушёл на работу после третьего курса и перевёлся на заочное отделение), другой с литфака. Мы стали держаться вместе.

Сколько времени я пробыл в Лужском лагере, затрудняюсь сказать. Со счёта чисел и дней недели я начал сбиваться ещё с начала окружения в укрепрайоне, а в лагере дни считать было невозможно. Даже Робинзон был в лучшем положении - он мог делать по дням зарубки.

Не думаю, что я со своими товарищами пробыл в Луге более трёх недель. Но, когда нас построили, чтобы отвести на железнодорожную станцию, я был настолько слаб, что держался на ногах с трудом, и мои товарищи, лучше сохранившие силы, меня поддерживали под руки, пока мы шли в колонне. По дороге кто-то из пленных не выдерживал, отставал, их пристреливали здесь же.

У железнодорожного вокзала стоял состав. Состоял он, в основном, из железных открытых вагонов для перевозки угля. Открытые они были в том смысле, что у них не было крыши. Пол был железный, как и стены. Вагон напоминал большую ванну.

В каждый такой вагон сажали, точнее ставили, по восемьдесят человек. Набивали вагон так, что мы стояли вплотную друг к другу - грудь с грудью.

Стоим, одуреваем от тяжести собственного тела, для которого нет места. А я ещё оседаю. Состав почему-то не отправляли и паровоз не прицепляли.

Мы узнали, что в конце состава есть вагон для раненых и больных. Мои товарищи стали кому-то из немцев показывать на меня, говоря, что я «кранк» - больной, и меня разрешили увести в тот вагон.

Расставаясь со мной, мои товарищи уговорили меня купить у немецкого солдата за тридцать рублей одну сигарету. Так я расстался с последними советскими деньгами - единственной бумажкой достоинством в тридцать рублей. Солдат сам спрашивал у пленных: у кого есть деньги с портретом Ленина. Я никак не мог понять, зачем ему такие деньги? Понял я это значительно позже, уже в Пскове. Оказывается, советские деньги продолжали ходить на оккупированной территории. А портрет Ленина солдату нужен был только потому, что только крупные денежные купюры имели его.

Здесь, у вагона для раненых, я окончательно расстался со своими друзьями. Дальнейшую судьбу их я не знаю, скорее всего погибли. А мне повезло: Этот вагон изменил мою судьбу.

\*\*\*

За всё время пребывания в плену я так до конца и не понял сущности немецкой политики по отношению к военнопленным. Это была политика жестокого лицемерия: сегодня они сами или с помощью полиции избивают, калечат или убивают людей, а завтра из того же лагеря отправляют раненых и больных в лазарет для лечения. После лечения опять стараются довести до смерти.

Я об этом говорю потому, что из Луги я попал в псковский лазарет для военнопленных. И довели меня туда не в вагоне, а в автомашине. А вагон этот я с ужасом вспоминаю до сих пор. Это была двухосная маленькая «тепушка», как одно время называли такие товарные вагоны. В него было набито человек сорок-пятьдесят. В вагоне, конечно, ничего не было - голый пол. На него надо было лечь - большинство из находившихся здесь или совсем не могли стоять, или стояли с трудом. Поэтому все лежали. Но как? Друг на друге: часть тела на полу, а другая часть на другом человеке. Здоровые руки или ноги одних покоились на израненных окровавленных конечностях других. Малейшее движение одного вызывало муки у другого. Пострадавшие от движения соседа истошно ругались, стонали. Но что мог сделать провинившийся. У него самого болели все части тела, затекали руки и ноги от ненормального их положения.

Был, редкий для осени, солнечный и очень тёплый день. Но свет в вагон проникал только сквозь щели потому, что были плотно заколочены окна и закрыты двери.

В результате вагон стал камерой пыток. В нём не было ничего, что бы заменяло уборную, а его не открывали. Люди ходили под себя. Воздух становился не только душным и вонючим, но и ядовитым, бескислородным.

Вагон стоял. Наступила ніч. Его не отправляли. Снова наступил день. Я был в таком состоянии, что спроси меня через двое-трое суток после освобождения из вагона, сколько же суток он стоял, я бы точно не сказал - может быть двое, а может быть и около трёх. За всё это время ничего не менялось. Вагон не открывали, не давали ни пить, ни есть. Я совсем задышался. Какие муки испытываешь при этом - не описать. Грудь - как будто набили камнями. Открываешь рот, чтобы схватить воздух, а хватать нечего, кроме вонючего смрада.

Но вот вагон открыли. Каким-то образом нас перегрузили в большие, покрытые брезентом, грузовые фургоны и повезли в Псков за 130 километров. В грузовике, где я лежал, было несколько человек тоже лежачих, охраны внутри не было, она сидела в водительской кабине. Немцы понимали: никто из нас выскочить не способен.

Переезд этот был очередным мучением. Дорога была плохая, с крупными выбоинами. Грузовик мчался с большой скоростью, водитель не обращал внимания на то, как его подбрасывало. Попробуйте лежать на полу кузова с голой головой, если машина летит по ухабам. Каждый толчок - удар в голову или ещё куда-нибудь. Голова, как пустой шар, отскакивает от пола и опять на него падает. Подложить под голову руки, тогда от толчков тебя начинает бросать от борта к борту. Пружинить на руках не хватает силы. Но, тем не менее, нас довели всё-таки живыми, хотя и наполовину.

Я оказался в псковском лазарете.

### Лазарет

Перед тем, как описывать псковский лазарет для военнопленных, мне хочется сделать замечание по поводу того, что о нём написано в справочнике А. А. Бологова «Псков».

О кровавых делах фашистов нужно рассказывать людям, но с какой бы ненавистью мы ни относились к фашизму, нельзя говорить и писать явную неправду. У Бологова получилось именно так. Он говорит о том, что в лазарете не лечили, а производили опыты над людьми. Чепуха, а самое главное - несправедливость по отношению к русским врачам лазарета, которые с риском для себя лечили и спасали офицеров Красной Армии, замаскированных под рядовых. Одним из таких честных советских людей был хирург Попов - очень хороший врач, пользовавшийся уважением даже у немцев.

Никаких опытов в лазарете не могло быть уже потому, что немецкого врачебного персонала в нём вообще не было. Точнее сказать, так: изредка появлялись какие-то немецкие офицеры, которые быстро обходили госпиталь и немедленно исчезали.

По-моему, главным хозяином лазарета был фельдфебель медицинской службы, живший в домике рядом с территорией лазарета. Ему же, видимо, подчинялась и охрана - десяток-полтора солдат. Но и фельдфебель внутри лазарета появлялся редко.

Я говорю об этом с некоторой неопределённостью потому, что принадлежал к низшей касте обитателей лазарета, не был членом медперсонала, и многое не мог видеть.

О русском медперсонале я больше всего узнал от своих друзей - двух фельдшеров - Ивана Акимовича и Ивана Тимофеевича.

Справедливо говорится о нём в книжке А. С. Миролубова «30 месяцев за линией фронта». Автор её, как и я, находился в конце 1941 года в лазарете, затем бежал и к началу 1944 года стал заместителем начальника политотдела 9-й партизанской бригады.

Чем же был госпиталь для привозимых сюда пленных? Если сказать кратко: местом смерти и местом спасения.

Главным фактором смерти был голод. От ран умирали реже, чем от дистрофии. Косили и болезни, особенно тиф.

Однако были факторы и временного спасения: тепло в помещениях, почти полное отсутствие немцев, которые очень боялись заразы и вшей, лечение, с некоторой оговоркой на нехватку медикаментов, редкие случаи зверства со стороны полиции.

Лазарет занимал довольно большую территорию на левом берегу р. Великой в Завеличье. На этой территории располагались три хороших каменных здания, несколько деревянных барачков, сараи и посередине всего этого - полуразрушенная древняя церковь.

Каменными зданиями были: двухэтажная бывшая богадельня (видимо, в прошлом - приют или больница для престарелых), трёхэтажная советской постройки школа и, ближе всего к реке, третье здание, назначение которого я не знаю (теперь в нём располагается техникум). В «богадельне» помещалась «палата выздоравливающих». Отсюда отправляли умирать в Кресты, Пески или Военный городок. «Школа» была хирургическим отделением.

В бараках размещались дизентерики и тифозники, рядом их первое время и хоронили.

В лазарете постоянно размещалось несколько сот военнопленных, среди которых к концу 1942 и началу 1943 годов было более двухсот членов рабочей команды. Хотя я сам состоял в ней, не могу сказать, для чего она такая большая была нужна.

Вряд ли был день, когда в лазарете не умирали. Но что по сравнению с лагерями была смерть нескольких или одного-двух десятков человек в день, когда там умирали сотнями.

### **Колхозная поликлиника**

Итак, я попал в один из барачков бывшей колхозной поликлиники. Счастьем это трудно назвать, так как я был еле живой. Но именно это меня и спасло. Я бы сказал - это было везение номер 2.

Немцы сюда не заглядывали: боялись. Только за забором по горбтому переулку ходил часовой, и то не всегда. Правда, здание, где помещалась вся охрана лазарета, было совсем рядом.

Главным в «колхозной поликлинике» был старшина отделения - что-то вроде внутренней полиции. Он пользовался свободой и мог передвигаться по городу. Был ли он пленным, не знаю. Через несколько месяцев он перешёл в городскую полицию и часто проходил за проволокой, окружающей лагерь, в центр города. Одет при этом был в изобретённую кем-то чёрную форму с коричневыми отворотами на шинели.

Я не знаю, что досталось лазарету от гражданских медицинских учреждений или от нашего армейского госпиталя, но в «колхозной поликлинике» были кровати с бельём и были лекарства, в том числе и бактериофаг - сильнейшее советское средство против дизентерии, недавно изобретённое. Меня несколько раз «фагировали» и, не смотря на голод, кровавый понос постепенно прекратился.

Палата, в которой я лежал, была маленькой - человек на десять, было чисто, тепло, никто здесь над нами не издевался. Люди и здесь умирали, но поодиночке. Умирали тихо, незаметно, как и все дистрофики. Проснёшься утром, и не знаешь, жив твой сосед или нет. Позже мне приходилось просыпаться рядом с остывшими мертвецами, лежащими со мной вплотную. Здесь, на кроватях, живые с мёртвыми не соприкасались.

Первое время мы получали «диетическое питание». Оно заключалось в том, что вместо хлеба два раза в день мы получали по три галеты (очень твёрдых, размером с мелкое печенье) и чёрный кофе. Был ли «обед» в виде супа, не помню, но обыкновенная баланда для страдающих животом не годилась. Иногда выдавали немецкий мармелад - с чайную ложку или столько же искусственного мёда. Я думаю, не надо объяснять, что эта норма смертельная.

Голод косил в лазарете всех: раненых, больных, «здоровых», кроме поваров, врачей, санитаров и некоторых ловких торгашей и жуликов из обыкновенных пленных. К последним относились, прежде всего, уголовники.

Про внутрилагерную полицию не говорю - это особые люди, которых в большинстве к пленным относить не стоит: они стояли рядом с врагом и служили ему добровольно.

Я ещё вернусь к характеристике «сословной иерархии» лазарета, а сейчас немного о санитарях, с которыми я имел в то время некоторую связь.

Старшины или старосты барачков, как бы их ни называть, имели примерно те же права, что и внутрилагерная полиция, - наводили «порядок». Остальные были обыкновенными са-

нитарами, то есть делали то, что санитар должен делать: обслуживали раненых и больных, соблюдали чистоту. Но у них были различные возможности для того, чтобы жить по-другому и не страдать от голода так, как все. И одевались они в чистое и хорошее. Почему? Откуда? Тогда такие вопросы было задавать санитару бесполезно. Наиболее доброжелательный ответ, который по этому поводу можно было бы получить: «Промышляю».

В плену каждый жил, как умел, и большинство людей не отягощала этика, особенно в 1941 году. Я не хочу обвинить всех санитаров в хищничестве, обирательстве и бесчеловечности. Они спасались по-своему, используя свои преимущества и возможности.

Осенью сорок первого года с белой повязкой Красного Креста на рукаве можно было ходить в какой-то части города без боязни, что тебя схватят. Побирались среди гражданского населения, спекулировали, продавали вещи умерших и поступивших в лазарет.

Когда пленные поступали в лазарет, у них отбирали одежду для дезинфекции. Обратного та же одежда редко возвращалась. Давали обноски, опорки, окровавленные и бесцветные гимнастёрки, выжженные шинели. Хорошее уходило на перепродажу в город или соседние деревни.

Кое-что прибирали к рукам немцы. Хозяин госпитальной кухни, унтер-офицер, ходил в русских суконных синих галифе и русских хромовых командирских сапогах. Немецкие офицеры предпочитали наши мягкие сапоги грубым немецким «бутылкам».

Избыток барахла всегда был - благодаря высокой смертности.

Из всего только что сказанного не следует делать вывод о том, что санитары не делали добрых дел. Благодаря тем, кто работал в «колхозной поликлинике», я встал на ноги, но был слаб настолько, что даже передвижение по крохотной палате вызывало головокружение.

Эта слабость была не только следствием перенесения тяжёлой болезни и голода, но и долговременного отсутствия всякого движения и свежего воздуха. Я в значении движения убедился позже, когда уже покинул «колхозную поликлинику». Голодному вредно целый день лежать. Надо понемногу двигаться, пока ещё есть какие-то силы. Именно понемногу потому, что нельзя допускать и перерасхода энергии.

\*\*\*

Как только я немного протоптался и присмотрелся, так сбежал из барака, обошёл охрану и отправился за город. Мысли об окончательном побеге и движении к фронту у меня тогда не было потому, что был слишком слаб, местности не знал, не имел никакого представления о положении в стране и на фронте; к тому же продвигаться на восток мешала река Великая.

Мне удалось выйти из города и пробраться в большую пригородную деревню Корытово, где я начал побираться. Чтобы описать, что означало для меня побираться в психологическом смысле, у меня не хватит слов. Вспоминаю об этом с отвращением всю последующую жизнь. И риск был огромный. Я понимал, что среди оставшихся в оккупации людей могут быть друзья и враги. На кого нарвёшься? Как распознать, кто есть кто? Кроме того, я очень сильно стыдился самого факта нахождения в плену, боялся вопроса с укором: «Зачем ты сдался? Нас не защищал, а теперь у нас просишь помощи!»

Понимал я и жалел тех людей, которые мне что-то выносили: ведь они сами не были до конца сытыми.

Мой поход в Корытово увенчался успехом. В моей противогазовой сумке оказались несколько кусков деревенского самодельного хлеба. Из чего его пекли, ума не приложу. В нём были многочисленные куски картошки, какая-то колючая шелуха. Хлеб был круглый по форме, похожий на ленинградский, и, как мне тогда казалось, имел божественный запах.

Какая-то сердобольная тётя дала мне солёных огурцов и налила бутылку молока. Я понимал: есть огурец для меня очень опасно, а запивать его молоком - тем более. Но голод оказался сильнее разума: сначала я съел огурец, а потом понемногу как-то выпил молоко. И снова залёг с кишечником. Видимо, с того момента и до сих пор мне нельзя пить молоко: оно для меня яд и сразу вызывает болезнь.

На этот раз меня спасла только доброта обслуживающего персонала. Помню особое отношение ко мне одной из медсестёр. Благодаря ей я какое-то время лежал не в общей палате, а на единственной кровати в медкабинете среди лекарств. Меня почему-то жалели и не торопились выписывать в лагерь

Чем я обязан такому отношению? (Кстати, оно меня сопровождало и дальше по всем лагерям и рабочим командам). Видимо, моя эрудиция, способность к политическому анализу и какие-то предполагаемые качества, которые могут пригодиться народу. И здесь, в лазарете, и в других местах, те, кто поближе меня знал, предполагали во мне не рядового, а командира неизвестного ранга или политработника. Интересны два момента в моей последующей биографии. Первый касается пребывания в Пскове в первой половине 1943 года. Стоило мне пару раз сходить в составе маленькой группы - человек шесть - на работу в санпропускник, находившийся поблизости от лагеря, как жительница Пскова, работавшая там, выбрала меня одного из всех пленных и, отведя меня в безопасное место, сказала мне без боязни: «Подожди дня три, и у тебя будут компас, карта, оружие и проводник в лес». К сожалению, история моей связи с этой замечательной женщиной вскоре закончилась трагической неудачей потому, что немцы заменили группу, работавшую в санпропускнике. Об этой женщине, которая пыталась мне помочь и после того, как я снова глухо сел за проволоку, я, к сожалению, так ничего и не знаю, кроме её имени. Было ли оно настоящим - тоже.

Второй случай произошёл уже во второй половине того же года в интернациональном лагере в Германии, в Штаргарде. Когда нас, большую группу заключённых штрафного лагеря, привезли сюда, к проволоке, разделявшей русский блок от блока других национальностей (там были пленные французы, бельгийцы, сербы), сбежались бельгийцы и французы и, радостно приветствуя нас, стали требовать показать им комиссаров. Наивные люди. Кто же из нас мог признаться или выдать товарища? Да и комиссаров в нашей армии в то время уже не было. Прошло немного времени, и сербы выбирали, кого из советских пленных подкормить (они жили в гораздо лучших условиях). И что же? Из отсека барака, в котором помещалось, по крайней мере, человек пятьдесят наших пленных, они выбрали меня одного. Назначили мне шефа. Звали шефа Божедар. Но и эта интересная связь вскоре порвалась потому, что мне удалось попасть в рабочую команду, работавшую в сельском хозяйстве у помещика. С точки зрения выживания этот вариант был лучше.

### **Возвращаюсь к событиям 1941 года**

Одно время ко мне хорошо относился и старшина барака. Мне стали поручать кое-что из работ по барачу, хотя я двигался очень медленно. Я имел шансы выйти в круг санитаров. Однажды старшина - я его всё время не называю, хотя фамилию его мне скрывать незачем; просто я не уверен теперь в ней, кажется - Васильев - выпустил во двор меня одного и поручил пилить на козлах дрова. Я начал это делать, но когда старшина ушёл в город, я оказался «неблагодарным»: сбежал снова.

В этот раз у меня были намерения более серьёзные: как бы сбежать совсем.

Я бродил значительную часть дня, вышел в какие то новые места. Очень устал. Но что делать? Мне нужно спрятаться так, чтобы меня кто-нибудь поддержал. Был ноябрь. Организм мой не был готов на ночлег в поле или лесу. Что я мог в одиночку, не зная, куда идти? На столбах и заборах были вывешены приказы немецкой комендатуры. Главным содержанием их было: кто будет помогать беглым военнопленным и предоставлять им ночлег, тот будет расстрелян. Как при таких условиях к кому-нибудь обращаться? А уйти далеко от города за один день не мог, да и заставы должны быть на дорогах. И опять я повернул назад к лазарету, хотя и возвращение было опасным.

Когда я был уже близко от переулка, который вёл к «колхозной поликлинике», навстречу мне вышла большая колонна пленных, которых вели в лагерь. Вот когда мне стало очень страшно! Сейчас конвоиры меня загонят в колонну, и я пропал! Меня спасли только выдержка и везение, а ещё скорее предусмотрительность. Когда я выходил из лазарета, у меня с собою

была взята белая повязка, без красного креста - какая-то тряпка. Для безопасности я нацепил её себе на рукав при входе на первую улицу. «Ну, думаю, обману или нет?» По своему жалкому виду я не был похож ни на полицейского, ни на санитаря. Но я разыграл роль. В тот момент, когда я поравнялся с первым конвоиром, обер-ефрейтором, я перешёл на шаг, похожий на парадный, и по возможности браво отдал честь немцу. Тот, нехотя мне ответил, прошёл мимо, а тут и тропочка - лаз к «колхозной поликлинике» попалась. Я свернул на неё и был спасён. Временно. Мой побег не мог остаться незамеченным. Я сразу попал в руки к разгневанному старшине. Он был безжалостен: «Пойдёшь в лагерь!»

Я почти немедленно был отведён в «богадельню». Это место было уже за хорошо охраняемой проволокой. Из отделения никуда, кроме как в уборную, находившуюся за несколько метров, но в другой половине здания, выходить не разрешалось. Здесь, в двух больших помещениях с побитыми окнами, которые были заткнуты чем попало, не только кроватей, но вообще ничего не было. Голый пол, на котором кто лежал, кто сидел, кто топтался.

Здесь людей держали до тех пор, пока, после формального «осмотра на здоровье», не отправляли в лагерь, формируя для этого колонну. Списывали в лагерь русские врачи - пленные. Обвинять их в жестокости бесполезно: у них не было другого выхода, а у направленных в «богадельню» не было другой дороги, кроме как в лагерь. В какой лагерь поведут - это уже дело немцев. А там - уже новое продолжение круга смерти.

### В «богадельне»

«Богадельня» была двухэтажным, расположенным углом зданием. Длинная его сторона была обращена к реке, короткая выходила на маленький горбатый переулок.

Внутри угла небольшой дворик. Он замыкался деревянными сараями и небольшой каменной пристройкой. В неё забрасывались трупы недавно скончавшихся. Иногда они валялись вокруг: на досках, бочках, в самых невероятных позах, раздетые донага, костлявые, почти лишённые мышц.

На первом этаже здания помещались палаты «выздоровливающих», кухонные помещения и помещения рабочей команды. Второй этаж для обитателей первого являлся запретной зоной. Там обитал медицинский персонал, в том числе и медсёстры. На том этаже не было доходяг и смерти. Медсёстры были полнотелые, здоровые. Там, в одном из помещений, вечерами заводили патефон и танцевали.

До сих пор не могу понять, как можно было танцевать в такой обстановке. Особенно меня потряс один случай: наверху танцуют танго, а внизу во дворе, напротив окон помещения, где это происходит, лежит голый труп на пустой бочке из-под известки головой вниз и «светит» задом в танцевальный зал.

Тогда у нас - «доходяг» такое поведение, такая сытая жизнь вызывали ненависть к людям, которые наверху. Это была социальная ненависть, неприятие морали благополучно чувствующей себя верхушки людьми униженными и обездоленными. Теперь, через много лет, на всё это смотришь несколько иначе, мягче, умозрительнее. Но и теперь мне непонятно: неужели у таких людей молчала совесть и не было стыда перед теми, кто уже ничего не чувствовал, но в одинаковой мере был достоин уважения. Воистину «пир во время чумы».

Палата «выздоровливающих» состояла из двух смежных залов примерно метров по пятьдесят каждый. В том зале, где я находился, была печка. Можно было её топить, но разжечь те дрова, которые нам давали, - свежесрубленная сосна - было делом почти невозможным. Они тлели, но ни огня, ни тепла не давали. Пленные лежали на голом полу целыми днями, иногда ходили друг вокруг друга «по базару», на котором шла меновая торговля: меняли кусочки хлеба на махру и самосад, табак на хлеб, обменивали соль, баланду. Продавали за пайку шинели, гимнастёрки. «В продаже» были банки из-под консервов под баланду для тех, кто не имел котелков. В ходу были и деньги, в основном советские.

Весь день проходил в томительном ожидании утренней пайки хлеба, обеденной баланды и ужина - баланды или хлеба. Изредка вместо вечерней баланды давали маленькую кучку

мелкого варѣного картофеля в мундире. Хлеб, как бы его ни выдавали, один раз или два, - это 200 граммов на день.

Были случаи, когда обитатели лазарета - все поголовно - баланду есть отказывались. За этим следовало наказание: три дня без обеда.

Как обезумевший от голода человек может отказаться есть даже самое плохое варево? И почему массовый бунт?

Дело в том, что нам иногда предлагали совершенно несъедобное. Назову два случая.

Известно, что Псков всегда славился своими снетками: и свежими и, особенно, сушёными. Но кроме снетков там сушили водившихся в Псковском озере в несметном количестве ершей. Этот сильно просоленный продукт был малосъедобным даже после его тщательного вымачивания. А долго пролежавшие сушёные ерши приобретали ржавый цвет и рассыпались. В результате получалась смесь соли с колочками и головами.

Однажды нам дали густой «суп» из таких ершей. Кроме ершей в него ничего не закладывали. Получился насыщенный соляной раствор, который невозможно было глотать и из-за соли и из-за сплошных колочек. Съесть две ложки такого «супа» уже было пыткой. Мы есть такой «суп» дружно отказались, а кухонное начальство в виде всесильного унтера возмутилось и приняло поведение пленных за организованный политический протест.

Другой раз дали суп из не рушенного проса. Напомню, что из проса, после того, как его пропустят через крупорушку, чтобы удалить с зерна твёрдую оболочку, получают пшено. Кто мог бы тогда возражать против пшена? Но не рушенное просо - как свинцовая дробь, его нельзя разварить и разжевать. Это мы тоже есть отказались.

Ну а какими были обычные баланды? В общем, баланду готовили из съедобных и условно съедобных продуктов. Эти продукты можно разложить по полочкам:

Мука, из которой делали жидкую подболтку - главный вид баланды.

Отходы от очистки капусты - хряпа.

Мелкий, чаще всего полугнилой, а иногда перемороженный, добытый из-под снега, картофель. Он был сморщенным и мягким, как резина. Первое время картофельную баланду варили с нечищеным картофелем, позже стали чистить.

В отношении возможности использования картофеля сделаю от перечня отступление. Люди из рабочей команды, изредка попадавшие за проволоку, приносили откуда-то так называемый по-нашему - «аммонал». Это были остатки сгнившего в земле картофеля от прошлогоднего урожая. В нём сохранялась кожура и немного из сердцевинки. «Аммонал» варили в печке, затем тщательно толкли и после этого ели.

Возвращаюсь к перечню продуктов.

Мясо:

а) Лёгкое и селезёнки с немецкой бойни. Из прочей требухи иногда рубец от жвачных животных. Мы его называли просто требухой. Будучи хорошо очищенной, это была хорошая вещь. Если бы её есть кусками в варѣном виде. Но в баланде она никакого навара не давала и попадалась крохотными кусочками.

б) Протухшая, бывало и в кисель разложившаяся, конина.

Зелень: с началом лета 1942 года в баланде стала преобладать крапива и листья одуванчика. Суп из листьев одуванчика был горьким.

Теперь ещё раз о хлебе. В разное время хлеб выдавали неодинаковый. Лучшим был немецкий хлеб выпечки 1938 или 1939 годов (гитлеровцы готовились к войне). Немцы хранили его, упакованным в металлической фольге. Он полностью не черствел и не покрывался плесенью. Но в большей части случаев нас кормили хлебом нового немецкого изобретения с берёзовой мукой. О нём я уже упоминал.

\*\*\*

Наступило время очередной отправки массы «выздоровевших» в лагерь. Оформляли выписку в лагерь, как в настоящей больнице. Вызывали по одному в комнату, где сидела ко-

миссия - два врача из военнопленных. Они определяли судьбу каждого: отправить в лагерь или оставить в лазарете.

Уже наступила зима. По слухам, доходившим из лагерей, в Песках и Крестах за сутки замерзло по 200 - 300 человек.

И вот я оказался перед упомянутой комиссией. В отчаянии пришла в голову мысль сыграть на интеллигентности. Я произнёс: «Прошу вас, как интеллигент интеллигентов, не отправлять меня в лагерь. Я там погибну сразу». И нашёл отзыв. Они меня пожалели... Мало того, сказали: на днях мы будем отбирать рабочих на кухню, подойди к нам.

Через день-два, кто-то из этих двух врачей появился в моей палате и объявил о том, что нужны четверо рабочих в кухонную команду. Многие бросились к нему. Но из толпы врач сразу выбрал меня, хотя я был одним из самых слабых и замурзанных. Затем он выбрал ещё троих. Не знаю, насколько этот выбор был случайным или нет. Скорее всего, случайно попал в группу только один человек - некий Червяков. Все трое были по сравнению со мной довольно крепкими людьми. К сожалению, в сравнительно короткий период моей работы на кухне я не узнал этих людей до конца. Быть откровенным в то время было делом опасным. Но мне хочется о них высказаться.

Первый из них - Пётр Маргушин до войны служил на железной дороге. Кем - не знаю. Но только не рабочим, скорее всего партийным работником или кем-то из технического персонала. Почти уверен в том, что в плен он попал, скрыв своё звание.

Интересным человеком был его товарищ Чекалов. Он вообще не должен был быть в плену, так как (по его утверждению) был лицом гражданским и до какого то времени сохранил паспорт. То, что он нам рассказывал, он рассказывал и какому-то немецкому начальству. Служил он гражданским лицом в колонии НКВД для несовершеннолетних преступников. Заняв Знаменку, немцы хотели сразу его повесить, как работника НКВД. И спас его паспорт. Мне уже в то время думалось, что остался он в Знаменке не случайно. Из района Петродворца - Стрельны было время для предварительной эвакуации. Как попал он в лазарет, для меня осталось неясным: не ранен, вроде не был и болен, не был истощённым. В 1942 году Чекалов каким-то образом выхлопотал освобождение из плена, вышел на свободу.

Третье лицо - Червяков - явная противоположность всем нам. Фамилия определяла его сущность - истинный червяк, безыдейный шкурник. Бывший рабочий, мукомол из Костромы, он думал только о спасении своей жизни. Немного откормившись на кухне - уже после меня - он добровольно, без всякого давления со стороны немцев вступил в РОА.

Мы, кухонные чернорабочие, жили в общем помещении рабочей команды. Было в ней в конце сорок первого года человек тридцать. В помещении команды стояли двухэтажные нары. После работы, а то и ночью, понемногу топилась печка. Топили её не столько для тепла, сколько для того, чтобы сварить добычу. У немногих добыча была, у большинства - нет. Добыча была у тех членов команды, кто ходил на какие-то работы, где можно было что-то выкопать, выменять или выпросить у гражданских лиц, украсть. У тех, кто выходил на такую работу, могли быть покровители из полиции.

Абсолютное большинство в команде голодало так же, как и в больничных палатах. Там же паёк. Разница в том, что ещё нужно было большую часть дня работать и чаще всего на открытом воздухе. Так что в такой команде, на первый взгляд, было значительно хуже, чем в палате выздоравливающих. Но однозначно на такой вопрос ответить нельзя. Многое зависело от пронырливости человека. Не собираюсь вдаваться в сложности ситуаций и поведения отдельных людей. Приведу только отдельный пример. Подобрал кто-нибудь на работе два-три бычка - окурка сигарет, брошенных немцами или полицейскими, и он, растеребив табак, может на него выменять полпайки у раненых. А если он такой делец, что у него наберётся на две-три затыжки, он может добыть и пайку. Знаю по опыту, что значит получить на сто граммов больше хлеба. Триста граммов в день - это значительное продление жизни.

О первых неделях пребывания в рабочей команде я почти ничего не помню. Помню лишь одно, очень страшное: пленных косил тиф. Вошь наступала широким фронтом. Лёжа

на нарах - я обитал наверху - трудно было уснуть. Под мышками, в складках нижней рубахи, вшей можно было хватать не по одиночке, а щепотками. Сколько их ни бьёшь - ничего не помогает. Смертность от тифа увеличивалась. Удивляюсь, почему меня не схватил тиф, когда рядом умирали.

Как это ни странно, но оказалось, что быстрее всего заражались и умирали люди наиболее здоровые, никогда ничем в жизни не болевшие. А «доходяги» выживали.

В какое-то время немцы спохватились - тиф стал пробираться и к ним в армию - начали бороться с вшивостью и в нашем лазарете. Нас стригли, обмазывали стриженные места лизолом и ещё какой-то жидкостью и, хотя может быть всего раз за три-четыре месяца, водили в санпропускник, который был неподалёку. Там нашу одежду прожигали, мы кое-как мылись, потом получали назад горячую одежду. В сорок втором году вошь в основном была побеждена. На смену ей пришёл новый паразит - блоха.

Возвращаюсь к своей судьбе. Меня спасла, конечно, работа в кухонной команде.

Что из себя представляла кухня для военнопленных? До войны это помещение, скорее всего, было прачечной: покатый цементный пол с люком посередине и один огромный котёл, вмурованный в прямоугольник печи в углу. Три двери: за первой была другая кухня - там готовилась пища для немцев, полиции и некоторых пристроенных к ним людей; там же был склад припасов для лагеря, в том числе хлеба; другие двери вели - одна в коридор, другая в рекреацию.

Вот здесь, на сквозняке, мы выполняли кухонные работы самого чёрного вида: чистили гнилой картофель, очищали требуху (очень трудная работа с кипятком), разгружали машины с хлебом, занимались уборкой. И тут нужно сказать: в плену выживали в большинстве случаев те, кто научился «шакалить». Я к этому меньше всего был приспособлен, но жизнь меня научила и этому искусству и воровству у немцев.

В чём выражалась привилегия нас, кухонных чернорабочих, в то время, когда я работал на кухне? Нам давали двойную, а то и тройную порцию баланды. Напѣешься её и спать не можешь: гоняет по нужде. Изредка, когда мы выполним какую-либо большую работу и когда у него хорошее настроение, унтер выдавал нам буханку хлеба на четверых.

Во время работы с картошкой или другими продуктами мы ничего не таскали: всё равно тайно не сварить, а полетишь с кухни.

Зато с хлебом как-то стихийно возникла узаконенная воровская операция. При этом не надо думать, что хлеб привозили каждый день. Его привозили редко. Он никогда не был мягким. Суть операции выражалась в следующем. Когда возле одного из входов в «богадельню» останавливалась машина с хлебом, кто-то заранее - один, двое, трое - прятались в уборной, которая была в нескольких шагах от двери на чёрную кухню. Мы, рабочие, подходили с пустыми мешками к машине, рядом стоял унтер. Нам бросали в мешки буханки так, что они торчали сверху. Затем мы направлялись по нескольким ступенькам в маленький коридор. Над ним была лестница на второй этаж. Когда мы проходили под лестницей, прятаясь в уборной, выбегали на неё, выхватывали буханки и снова прятались. А дальше действовало неведомое кем придуманное правило: украл буханку, отдай половину тому, у кого украл. Главными участниками этой операции были профессиональные воры. Их было в нашей команде двое.

Кухонный унтер узнавал о пропаже хлеба, но как его воровали, понять не мог. Первое время он принимал его на собственной кухне, потом стал стоять с пистолетом в руках около машины. Но хлеб исчезал.

Вот так, правдами и неправдами, я жил до начала лета 1942 года. Ходил в чужой грязной шинели до пят, в гимнастёрке с крупными неотмываемыми кровавыми пятнами.

Многие из окружающих смотрели на меня с удивлением: как же, жрёт много баланды, кое-когда имеет лишнюю хлебную пайку и не может выменять себе обмундирование.

А я так одурел от голода, что ничто не могло меня заставить отказаться от крошки хлеба и лишней баланды. Всё сознание поглощал голодный бред. Только незадолго до того, как я

был изгнан с кухни, я решил - не сам, а после уговоров посредников - обменять на хлеб худшую шинель на лучшую. Но после этого меня долго мучила совесть.

В начале лета унтер выгнал меня из кухни в рабочую команду. В этот раз интеллигентность и отсутствие опыта человека, занимающегося физическим трудом, меня подвели.

Унтер задумал завести поблизости от «богадельни» огород для себя. Нас, кухонных рабочих, он начал использовать при работах на нём. Однажды я был послан один, с граблями разрыхлять на нём землю. Пришёл унтер и встал за мной монументом, приглядывался. А затем сказал несколько фраз, из которых я понял только две: «Мне художники не нужны. Отправляйся в рабочую команду».

### **В рабочей команде**

В рабочей команде лазарета я пробыл ещё год. Вскоре после моего изгнания из кухни старую рабочую команду перевели в другое помещение (условно «техникум»). Помещение было более светлым и просторным. Нары были поставлены не так тесно, на них матрацы, сплетённые из бумажных верёвок - сетчатые. Никакого постельного белья, разумеется, не было. Под голову клали что придётся. Матрацы были набиты соломенной трухой, и из неё выпрыгивали несметные полчища блох. Вшей не стало, победила блоха. Я спал на нижних нарах. Напротив меня с другой стороны комнаты был прибит большой портрет Гитлера с надписью: «Гитлер - освободитель». Я вынужден был любоваться на его свирепую рожу.

С кухней у меня связи были полностью порваны. Даже ходить в «богадельню» нам не разрешалось. Положение кухонных рабочих изменилось. Их перевели в отдельную маленькую комнату, спали они на кроватях, в обед получали второе, в том числе иногда и котлеты из конины. Ну, а я опять оказался на обычном голодном пайке. Очень редко, когда мне удавалось что-нибудь подшибить.

Не буду подробно описывать свою жизнь в новом месте и частично ином окружении. Остановлюсь, прежде всего, на общем положении в лагере в середине и конце 1942 года.

После поражений под Москвой и Ростовом немцы стали относиться к пленным немного лучше - конечно не СС, а простые. Но главное в обстановке не изменилось.

Пленных стало поступать меньше. Теперь поступали не столько окруженцы, сколько раненные при наступлении, в том числе много обожжённых танкистов - не люди, а головешки. Из таких выживали очень немногие. А кто выжил - только благодаря врачам.

Страшный голод оставался главным бичом пленных. Когда пошла трава, мне, самому голодающему, было страшно смотреть, как доходяги, выпущенные из палат «школы», сидят на земле на пыльном дворе, щиплют и жуют стебли подорожника. У меня хватало воли не есть явную гадость и в это время и позже. Но у многих этого не хватало. Чего только не ели! И погибали.

Однажды между проволокой и зданием, где располагалась наша команда, я увидел, сидящего на земле человека, который развёл из каких-то щепок малюсенький костерок и собирался жарить на нём лежащую рядом дохлую крысу. Обращаясь ко мне, он несколько раз повторил: «Жарю птичку, жарю птичку». Взгляд у него был безумный. Может быть, он и впрямь думал, что крыса - птичка.

Немного о рабочей команде и своих муках. Рабочая команда выполняла немногочисленные по видам нужные для лазарета работы, но были и длительные периоды, когда делать было нечего. А мы всё равно обязаны были работать, и очень долго - весь световой день. Чем светлее и длиннее день, тем дольше работа. Если осмысленной работы не было, нам давали бессмысленную, издевательскую. К примеру, сегодня перекаладываем старый кирпич в штабеля в какое-то новое место, а завтра перекаладываем обратно. И это может быть на сильном морозе! Печален, но интересен такой факт: С наступлением тёплой поры у нас стали отбирать обувь и заменять её деревянными колодками голландского образца. В них не побежишь. Проклятая штука. Но на морозе они ноги спасали. Мы обматывали ноги портянками из обрезков шинелей или байковых одеял. И ноги не отмораживались.

В течение долгого времени мы оплетали сами себя колючей проволокой, делая её всё гуще. Чтобы мы не убежали (а случаи побегов были), совершенствовали систему ограждения. До чего же отвратительно было это делать. Мы пытались оставлять лазы, старались сделать как можно меньше, а скобки прибавляли послабее. Но ведь за нами следили!

Здание «техникума» имело люковую канализацию, и из большого люка надо было периодически вывозить нечистоты. Выгребали их ковшом в бочку, стоявшую зимой на санях, а летом на низенькой тележке, затем через всю систему дворов возили и выливали на огород. Первое время этим занимались только евреи. Как над ними ещё издевались, я расскажу позже. Пришлось и мне после евреев делать это отвратительное и грязное дело (бочку опрокидывали и ставили руками, поставив, катили за верёвку). Делали это втроём.

Был я участником и ещё одной печальной «тройки». Летом, вооружённый винтовкой, полицейский и переводчик Давыд повёл нас троих - имён не называю, так как не помню - в район сараев «богадельни». Там валялась куча обнажённых трупов наших братьев, а рядом стояла двуколка (двухколёсная повозка с высокими бортами).

По приказу Давыда мы погрузили трупы на повозку. Она была заполнена до краёв. Трупы покрыли рогожей. Но так как они оказались длиннее днища повозки, то ноги и головы свешивались из-под рогожи спереди и сзади. Оглобли повозки были связаны солдатскими обмотками. Меня поставили впереди вместо лошади. Обмотки были закинута мне на шею, а руками я держал оглобли. Двое моих товарищей толкали повозку сзади.

Под охраной Давыда мы «выехали» за пределы лазарета. По крутому переулку, в гору, еле-еле выкатили двуколку на улицу Горького и по ней направились через всё Завеличье на Мироносицкое кладбище. Видя нас, редкие прохожие шарахались от ужаса: полуживые везли мёртвых. На Мироносицком кладбище в то время сохранялась довольно большая, нетронутая поляна, покрытая травой.

Давыд измерил ширину будущего рва и вручил нам лопаты. Таким образом я оказался одним из тех, кто открыл новое кладбище военнопленных. Теперь там стоит хороший памятник из серого гранита с большим орденом Отечественной войны.

Согласно современным справочникам, в том числе и по Бологову, здесь похоронено около 30 тысяч человек. Я не очень доверяю этой цифре. Ведь на кладбище никто не считал захороненных, так же, как в больших лагерях никто не считал количество умерших. Может быть, это не всегда так было. Я, во всяком случае, такого не наблюдал.

Другое дело в лагерях на территории Германии. Там пленных не только пересчитывали, но ещё фотографировали, снимали отпечатки пальцев, выдавали номерки, а иногда и метили нательными знаками. Видимо, так и вычёркивали из списков живых.

На Мироносицком кладбище я узнал, что можно есть сердцевину толстых стеблей лопуха. Оказывается, она напоминает по вкусу капустную кочерыжку, только при очистке ментально синее.

В рабочей команде меня чуть не замучила до смерти ещё одна болезнь - необыкновенно сильный фурункулёз. Он возник, видимо, от нарушения обмена веществ и антисанитарии. Никогда у других людей я такого сильного фурункулёза не видел. Особенно много фурункулов образовалось на животе - как раз по поясу, что мешало нагибаться. На груди и спине их появилось меньше, но зато они были крупные и, когда лопались, превращались в раны. Под мышкой вырос огромный карбункул.

А в двух местах на груди и спине происходило что-то странное: отпадала кожа и образовывались липкие, слегка гноящиеся раны. Разве мог бы я перенести такое в обычном лагере? Меня забили бы палками при первом же выгоне на работу.

Спасли меня два фельдшера, с которыми я подружился: Иван Акимов и Иван Тимофеев. Они не только меня перевязывали, но и семь раз делали аутогемотерапию (переливание собственной крови). Оба они попали в армию ещё до совершеннолетия. До этого учились в медицинском училище. Никакими привилегиями в лазарете они не пользовались, голодали, как и я, и мечтали так же, как я, о том, как бы удрать на свободу.

Теперь об охране внутренней полиции и переводчиках.

Лазарет был оцеплен двумя рядами проволоки. Внешний ряд высокий - в полтора человеческого роста, внутренний - низкая проволока предупредительной полосы.

Охрана ходила по внешнему периметру ограждения. У ворот - проходная, в ней немцы и дежурный полицейский. После нескольких случаев побегов с наступлением темноты во двор спускались собаки. Всякое движение между отдельными зданиями прекращалось.

На работах внутри лазарета надсмотрщиками обычно являлись невооружённые полицейские, за проволокой - вооружённые немцы.

Рабочую команду будил и выводил на построение для распределения на работу полицейский Сашка Цыганков. Это был высокий, красивый парень, одетый в новенькое - по фигуре - командирское обмундирование, всегда в хорошо начищенных мягких хромовых сапогах. В нём было очень мало от типичного лагерного полицейского.

Между прочим, среди пленных слово «полицай» вместо «полицейский» долгое время не употреблялось. Это потом оно повсеместно распространилось, скорее всего из деревень. Кстати оно бессмысленно, так как «полицай» значит «полиция», а не «полицейский». Но, видимо, потому, что на нарукавных повязках полиции была немецкая надпись «полицай», так оно и укоренилось.

Я не знаю случая, чтобы Цыганков кого-нибудь ударил. Мог кричать, особенно при немцах, подгонять, но не бил. Совершенно непонятны были его доходы. Почти всегда у него были большие деньги. Среди членов рабочей команды у него был маленький круг приятелей - картёжников, которым он покровительствовал, и спасал их от голода. Цыганков часто после рабочего дня заходил в помещение команды и дулся с ними то в «очко», то в «буру». Иногда играли ночами. В этой компании главными фигурами были два бывших вора: Яшка Большаков и некий Федька. Первый был ленинградским профессиональным карманником. Совершенно неграмотен. Молод - в 1941 году ему было 18 лет. Как попал в армию, непонятно.

Федька был немного постарше - тоже хороший «жук». Откуда у них брались большие деньги, нам, честным людям, было неизвестно. Но за один вечер они проигрывали или выигрывали не только сотни, но и тысячи. Правда, они не всегда были при деньгах. Были и у них конъюнктурные спады. Из-за этих типов - я в этом почти уверен - мой жизненный путь с начала лета 1943 года оказался более тернистым. Если бы не их воровская предприимчивость, я бы в указанное время был бы в псковских лесах у партизан.

Второй русский лагерный полицейский - Васька Комаров. Очень колоритный тип. Безусловно, бывший уголовник. Лицо изрыто оспой, глаза бегающие. Имел дурную привычку непрерывно, даже на посту у входных ворот, сквозь зубы плевать. В отличие от Цыганкова был очень грубым. Одевался во всё матросское: бушлат, клёш, тельняшка, безкозырка.

Вторую группу полицейских - их тоже двое - составляли русские немцы - переводчики Давыд и Сашка. Так их, во всяком случае, называли пленные. Интересно, что оба имели совершенно провалившиеся на переносье носы - пуговики, какие бывают у хронических сифилитиков.

Наиболее свирепым из них был Давыд. Жил он до войны в городе Кропоткине на Кавказе в одной из немецких колоний. Как он попал на службу к нашему врагу, мне неизвестно. Возможно, репатриировался по договору, заключённому с Германией в 1939 году. Сопровождал пленных на работу обычно с немецким шомполом (цепочкой, составленной из маленьких гирек) в руке. Мог при случае и огреть им, хотя особенно этим не злоупотреблял. Любимым его словом при общении с пленным было таинственное: «Крутишься?».

Немного о судьбе переводчиков не из немцев. Совершенно неправильно относить их огулом к немецким прислужникам. Чаще всего было не так. Просто в силу знания языка они оказывались нужными немцам. Отсюда их некоторая привилегированность.

В лазарете они жили отдельно, как питались, не знаю, но, во всяком случае, не так, как мы. Ну а то, что они переводили обыкновенные разговоры, - не преступления. Всех пере-

водчиков я не помню - они появлялись и исчезали. Какие-то из них были до рокового для них появления Давыда и Сашки, но судьба их была трагична.

И здесь я вступлюсь за одного из них, о котором у меня сохранилась светлая память. Звали его Сергей Громов. По слухам, он был курсантом одного из высших военно-морских училищ, родом москвич. Немецкий язык знал хорошо. Судьба к нему благоволила до тех пор, пока немцы вместе с предателями не задумали вербовать нас во власовскую армию. Эта вербовка коснулась и меня.

Однажды в одном из деревянных бараков лазарета выстроили всю рабочую команду и всех «ходячих». Построили в большом зале, а в соседней маленькой комнате сидела комиссия для записи добровольцев. Перед строем пленных выступили какие-то типы, разъяснявшие необходимость бороться с большевизмом. После разъяснений был задан один вопрос: «Кто хочет бороться с большевизмом и вступить в РОА? Выйти из строя!» Ответом стало гробовое молчание, никто не шелохнулся. Вербовщики растерялись. Кто-то, одетый в немецкую форму, выступил тогда с угрожающей речью, а потом был задан другой вопрос, с целью нас испугать: «Кто не хочет бороться с большевиками? Поднимите руки!» Подняло большинство, в том числе и я. Тогда, видимо решив, что мы друг друга боимся, нас стали вызывать поодиночке в маленькую комнату.

И первым вызвали Сергея Громова. Вечная ему память! (Хотя его судьбу я не знаю). Сергей произнёс при открытой двери громкую патриотическую речь, напомнил о том, что он давал красную присягу и останется навсегда ей верен. Он подал нам пример, но при этом пожертвовал собой. Его сразу забрали и куда-то отправили. Уверен, что не в простой лагерь, а в тюрьму или в Германию, в настоящий «лагерь смерти». Для немцев он стал опасен.

Одним из первых после Громова вызвали меня. Я так же громко, но короче, произнёс примерно то же самое. Вызвав ещё несколько человек, вербовщики от продолжения этой бесполезной процедуры отказались. Но они применили ещё один, последний приём: разрешили разойтись всем, кроме тех, кто готов служить в РОА.

Разошлись. Но не все. Остались несколько человек из самых слабых палатных доходяг. Им деваться было некуда: смерть стояла за спиной, а умирать они не хотели, на это требуется особое мужество. Нас, простых рабочих, за отказ служить фюреру и его русской шавке Власову, не репрессировали, видимо, потому, что всех девать было некуда.

Были в первые месяцы существования лазарета и переводчики из евреев, числа не помню, но не меньше двух. Они попадались на умении говорить на немецко-еврейском жаргоне. Сначала им было хорошо, а затем их уничтожали после зверских издевательств.

Еврейским «вопросом» в лазарете занимались периодически. Самыми активными в этом отношении были уже называвшийся Давыд и зачистивший к нам пропагандист фашистского Псковского бюро пропаганды Боженко. Этот ярый антисоветчик, как я узнал об этом после войны, от имени псковичей приветствовал генерала Власова, приезжавшего в Псков. С этой сволочью я пытался однажды спорить, но он схватил доску с гвоздями и чуть меня не забил.

Подозреваемых в принадлежности к еврейской национальности подвергали унижительному осмотру на обрезание. Я - человек абсолютно далёкий от религиозных верований, до этого был убеждён в том, что это изуверство - далёкое и почти забытое прошлое. А оказалось - нет. Какая-то чёрная сила заставляла многих евреев блюсти этот бесчеловечный обычай. Находились обрезанные.

Приведу три жутких примера издевательств над евреями. Первый случай я наблюдал из окна «богадельни». Собрались несколько человек «разоблачённых». Среди них два бывших переводчика. Построили в шеренгу, подвели на поводке собаку и заставили её кусать этих людей. Когда кусаемый дёргался, Давыд кричал: «Не шевелись, стоять смиренно!» и бил укушенного своим любимым шомполом. Поиздевавшись, всю группу повели в лагерь. По слухам, не довели - забили насмерть кирпичами.

Второй случай: посреди двора поставили бочки, полные водой, не закрытые. Положив на них по доске, посадили на них евреев с жёлтыми шестиугольными звёздами на груди. Силой заставляли их глотать сухую соль и не давали прикоснуться к воде.

Третий случай: купание. Опять главный организатор Давыд. Лето. Солнечная погода, жарко. Сделав вид, что желает нам добра, Давыд вывел несколько человек из рабочей команды и трёх-четырёх евреев, которые возили нечистоты, к реке - купаться. Купался ли я, не помню. Скорее всего, Давыду нужны были зрители для задуманного им аттракциона. Загнав евреев по горло в воду, он наводил на них винтовку и командовал: «Садись! Без команды не вставать! Убью!» Они опускались под воду. После длительной паузы, когда несчастные уже захлёбывались, он командовал «Встать!» и почти сразу - «Садись!». После нескольких таких приёмов один из евреев не вынырнул, не то захлебнулся, не выдержав перерыва в дыхании, не то покончил с собой нарочно. Труп не всплыл. Давыд испугался. Видимо боялся, что его обвинят в побеге пленного. Течение было довольно быстрое, хорошему ныряльщику и пловцу можно было бы отплыть далеко. Но только не такому слабому человеку. Да и куда плыть? В центр города, где сплошные немцы. Однако Давыд быстро загнал нас за проволоку, а немцы долго искали утопшего, но не нашли.

Самыми печальными и последними в моей жизни в лазарете были события, связанные с попыткой побега из лазарета.

С начала «зелёного сезона» я со своими друзьями фельдшерами стал мечтать о побеге. Мечтать было легко, но как вырваться за проволоку и выйти из охраняемого города. Всё, что мы придумывали, было опасно и ненадёжно. Но понемногу мы готовились. Иван Акимов где-то раздобыл компас и очень ловко заделал его в каблук деревянной колодки.

Мечтали бежать втроём - втроём и попали в штрафной лагерь военного городка. И в этом я чувствую и свою вину, хотя непосредственным виновником провала побега я не был. Но друзья признали меня за лидера, а я проявил излишнюю самоуверенность, внушил тоже самое им, переоценил свои физические возможности и, в результате, предложил им авантурный план. На моей личной судьбе отразилась излишняя привязанность к друзьям, нетерпеливость, нежелание, да и неумение действовать в одиночку.

Немного отклоняясь от своей судьбы, скажу: за время моего пребывания в лазарете было несколько побегов. Из них все, или почти все были одиночными или, может быть, вдвоём! И только один был групповым: весной 1942 года бежала группа санитаров и один танкист. Участником этого побега был А. С. Миролубов, впоследствии партизан, а после войны автор многочисленных очерков о ленинградских партизанах и книги «30 месяцев за линией фронта». Им бежать по ряду причин было легче. Среди них и то, что лазарет ещё не был так крепко оплетён проволокой, да и собак ещё не было. В 1943 году - через год после их побега - многое изменилось.

Возвращаясь к своей судьбе. Как мне тогда не повезло! Неожиданно я попал в группу из нескольких человек для обслуживания «вошебойки». Этот санпропускник был расположен всего метров за двести от проходной лазарета. Работал я на «вошебойке» не более недели, с кем - забыл ещё 40 лет назад. С момента прихода туда у меня была только одна мысль: не прозевать момент - одному отсюда бежать нетрудно, уйти за город, искать партизан. Вот только в такой одежде и в колодках нельзя.

Я уже говорил, что я не помню, какое у меня было окружение, не помню и того, искал ли я товарища для побега, но я, видимо, вёл какие-то разговоры о связях с партизанами или гражданскими лицами в городе. И меня подслушали. Иначе никак нельзя объяснить дальнейшее.

На «вошебойке» работала гражданская женщина. Жила она в соседнем доме. И я думаю, что она подслушала мою «агитацию». Однажды она тихонечко завела меня в изолированную маленькую комнату. Представилась только по имени: «Васса!». А затем, совсем не опасаясь сказала: «Потерпи дня три. Будут у тебя карта, компас, оружие, проводник из города». Я не возликовал, но поверил. И поверил правильно: она во мне не сомневалась.

Но в один из последующих дней произошло непредвиденное. Мою группу заменили компанией Яшки Большакова. И чуть ли не в первый же день эта группа была задержана в проходной при попытке пронести в лагерь не то водку, не то шнапс. Результат: со следующего

дня отправку рабочих из лазарета в санпропускник совсем прекратили. Каково стало моё положение!

Прошло несколько дней. Каким-то образом через проходную Васса передала мне довольно много сырой картошки. Передал мне её полицейский (случай такой передачи для лазарета крайне редкий, а точнее сказать, другого такого случая я не знаю). К Вассе при этом меня не подпустили, и я её не увидел.

И тут бы мне сидеть тихо, есть картошку и ждать, авось ещё когда-нибудь выведут за проволоку. Но у меня не хватило выдержки, стало неудобно и совестно перед друзьями: ждать случая для себя и не думать о них я не мог. И мои мысли приобрели легкомысленное направление. Я предложил Акимову и Тимофееву очень смелый план побега при свете дня, точнее утром за считанные минуты до массового вывода на работу.

Далее думалось так: если удастся, проберусь к Вассе, может быть, она чем-нибудь поможет, а нет, так будем сами пытаться выбраться из города. У кого-то из моих товарищей было что-то из гражданской одежды, у Тимофеева - ботинки. Благодаря этому кому-то можно было выйти на разведку.

Но, как я уже отмечал, я переоценил наши силы и возможности. Попытка побега не удалась (однако, хотя я осуждал себя за этот слишком смелый план и авантюризм, я позже бежал из другого лагеря похожим способом). Я не рассказываю подробности не только потому, что не хочется говорить о своих слабостях, мне не хочется называть имя друга, который при этом совершил невероятную глупость. Из-за этого мы оказались перед лицом старшины одного из барачков, а тот (он вполне мог этого не делать) сразу продал нас немцам. Отправка в лагерь последовала под контролем гестаповца. Опять спасибо за то, что мои кости целы!

Штрафной лагерь Военного городка, куда нас отвели немцы, называли «Straf Kompani 3» т.е. «Третья штрафная рота». Место было «весёлое». Там содержались в основном беглецы и партизаны. Здесь каждый был на учёте. Хлеба давали 100 грамм, а может быть и меньше, в день один раз банка баланды (такая баночка, в которой теперь продают зелёный горошек). Ночевали не то в бывшей конюшне, не то складе. Пола нет, стены кое-как сбиты из досок, нары в три этажа. На огромный барак для отопления - три бочки из-под бензина с отверстием для дров. Теплее было на верхних нарах, и большинство из заключённых (так правильно было нас называть) забирались туда. Народа в этом лагере было сравнительно немного. Для заключения в этом лагере полагался, как и в тюрьме, срок, но мне после допроса (а вёл я себя на нём довольно нагло) срока не назвали.

В бараке было холодно даже летом, хотя бочки-печки топили чем придётся, а на их поверхности иногда кое-что пекли. Пёк лепёшки и я после добычи, о которой расскажу позже. Режим в лагере был изнуряющий. Почти всё время, свободное от работы, - стояние на плацу («аппель» - пересчёт). Работы: прежде всего каменоломни возле Снетогорского монастыря. Иногда (и это не в пользу немцев) работы на разгрузке вагонов на железнодорожной станции. То, что нас посылали даже на разгрузку муки, я объясняю тем, что у гитлеровцев, уничтоживших большинство пленных 1941 - начала 1942 года, стало не хватать рабов. Вот и даже нашего брата «ненадёжного» стали использовать.

Работа в каменоломне была ужасной. Слабому голодному человеку давали в руки или кайло, или пневматический отбойный молоток весом 32 кг. Молоток этот не только было трудно поднять, он сильно вибрировал, а вместе с этим вибрировали все мышцы работающего. Так и я уподобился шахтёру. А позади - часовой, а среди них и Ганс. Получал я от него удары и прикладом и лопатой. Много, конечно, Иванов у нас и Гансов в Германии, но этот был отменной сволочью, хотя и не эсэсовцем. А как мне - интеллигенту, не привыкшему к тяжёлой работе, держать отбойный молоток? Я уже о голоде не говорю.

Как я выдержал сравнительно короткий срок пребывания в штрафном лагере?

Я не случайно упомянул о работах не в пользу немцев. Я научился «шакалить». Этот термин не понять сытому человеку, он включает всё, в том числе воровство (только у врага).

Когда нашу братию отправляли на железную дорогу, начиналось такое воровство, что и не придумаешь. Как бы ни охраняли нас, если разгружается что-нибудь съедобное, что-то из него исчезало. Я - участник операций по макаронам и муке. Макарон, правда, мне не досталось, но мука меня хорошо подкормила.

Не думайте, что грузить муку - лёгкая работа, особенно для пленного. Мне бросают на спину мешок весом не менее 60 кг и я его по сходям должен снести на автомашину и свалить. Здесь ничего не украдёшь. Но вот, меня посадили одного в кузов загруженной машины, солдат впереди. Я делаю крохотную дырку в мешке с мукой и «передаиваю» понемногу в свой вещмешок. Надоил много. Немец при выходе не то не заметил, не то не захотел заметить, во всяком случае, я мешок принёс в лагерь. А дальше? Что делать с мукой? Ведь пленный идёт на работу каждый день во всём, что у него есть. Пёк со своими товарищами лепёшки на бочке. Но хорошо поесть и создать запасы было невозможно; лимитировала площадь бочки, топливо, вода, время. Пришлось значительную часть муки продать «туркфольку» - так немцы называли всех пленных азиатского происхождения. Почему-то их разместили по соседству с нами в одном лагерном блоке.

\*\*\*

Наступил момент, когда немцы решили отправить нас в Германию. Отправляли с большими предосторожностями: боялись побегов. Внедрили в нашу группу провокатора (в Германии перед строем пленных его объявили немцем и «взяли» в армию). Похож он был скорее на цыгана, чем на немца. Каждый день пел на нарах, а потом на пересылке при открытых вагонах пел песни откровенно издевательские по отношению к гитлеровцам. Пытался, видимо, привлечь к себе внимание, найти «товарищей». Но никто с ним не яхшался, хотя его никто и не знал.

Следовали непрерывные обыски.

Доставили нас сначала в Каунас, в место страшное - форт № 6. Бетонные казематы, железные решётки, кругом многометровые тоже бетонные стены с валами. Отсюда не было выхода никакого. Но держали нас здесь не много дней. Построили, раздели догола, переменили всю одежду на немецкое бельё из картофельной ботвы и перекрашенную в зверский синий цвет немецкую форму. На спине большие красные буквы «SU» - «Советунион», то же на брюках выше колен. Отведя нас от нашего жалкого имущества, оставшегося в вещмешках и рядом с ними (кошельки, банки, ложки, тряпки всякие, кисеты, баночки для табака - это, пожалуй, всё, что у нас было), у каждого всё осмотрели. Искали прежде всего острые предметы и среди них ножи.

И всё-таки некоторые из нас пронесли запрещённое. Мы втроем пронесли небольшой нож и компас. Компас опять-таки пронёс Акимов. В этот раз пришлось прятать его по-другому, т.к. и «обувь» нам меняли. Иван не курил, но когда-то запасся самосадом. Положив компас в круглую коробочку, он засыпал его табаком. Когда к нему подошёл солдат для обыска, Иван раскрыл коробку и протянул её солдату, предложил ему закурить. Тот, естественно, отверг предложение и копаться в табаке не стал.

Из Каунаса нас повезли в Германию - это было для нас самое страшное. Резали вагон чем могли. Труд чуть ли не первобытный. И снова предательство. Пришлось столкнуться с охранниками из «Визвольного вийска» - будущая УПА, бандеровцы. Поезд остановился для осмотра вагонов. Немец прошёл не заметил ничего, а украинец заметил. Нас раздели и привезли в чём мать родила в Штаргарт на пассажирский вокзал. Там одели и отправили в стационарный хорошо укреплённый лагерь. Здесь проволока была и над землёй и под нею. Ночью через неё пропускали ток, пулемётные вышки, масса псов, изолированные блоки. Рядом с лагерем засыпанные рвы с прахом тех, кого замучили до нас в начале войны. Лагерь интернациональный. Здесь побывали даже итальянцы - бывшие союзники гитлеровцев. Но это уже было значительно позже. Здесь через некоторое время я расстался не только со своими старыми товарищами, но даже со знакомыми.

Как я узнал уже после войны, двух Иванов - Акимова и Тимофеева отправили в Норвегию. К сожалению, после окончания войны и после репатриации им пришлось перенести

тяжёлые испытания на родной земле из-за излишнего недоверия. Но потом всё кончилось благополучно. Недавно Иван Акимов умер. Если бы все были такими страстными патриотами, как он! Но не судьба ему была участвовать в Победе.

Моя судьба немного лучше. И теперь, уже на склоне лет, я посчитал долгом вспомнить и о таких людях и о тех, кто погиб в лагерях раньше. Меня заставляют говорить братские могилы. Трусами советских воинов усеяна и наша земля и вся Европа вплоть до Атлантики.

И трупы взывают о мщении! Кому?

Тем, кто делает войну средством господства несправедливого буржуазного общества.

1987 г.

P.S.

После распада Советского Союза и мирового краха идей коммунизма не могу сказать, что может быть справедливое общество. Вечная борьба за выживание.